

В магазин сельпо привезли небьющиеся стаканы.

Грузчик лихо шваркнул один об пол:

— О! Еберазять! Не то что ваши драгоценные хрусталя! Да бывает, что и малерованные кружки трескаются. А этот — на века, как советская власть!

Сельповские продавщицы очень осторожно, с махонькой высоты (товар все-таки) уронили стакан на пол по разу. Стучается как дерево, не бьется. Вот чудо чудное, диво дивное!

Сарафанное радио весть о небьющихся стаканах разнесло за час. Бабы брали стаканы не штуками, а десятками. Ладно, для себя родимой трех-четырёх достаточно. А внучатам-внучаткам? Да у них, может, по сколько детишек народится? В хозяйстве пригодится! Весь свой

век будут поминать потомки прадедов-прабабушек добрым словом, приглашая к утреннему поминальному чаю.

Морозы в тот год частенько за пятьдесят переваливали. Шуликуны¹ трещали по стенам и изгородям сухими и короткими автоматными очередями. Мы выскакивали из дому только для того, чтобы скатиться разок на лыжах и быстренько забежать обратно со сведенными в квадрат ртами и скрюченными в грабельки пальцами, которые стыли даже в двойных шерстяных варежках. Мать ворчала, но добродушно. Ее голосу не доставало отцовской строгости.

¹ Шуликун (северно-русское) — трескучий мороз.

А отец валил строевой лес в совхозной бригаде. Мужики неделями жили в дальнем бараче возле речки Виза-Ёль. Возвращаясь оттуда, с дальних виза-ёльских лугов попутно возили сено на лошадях. Приезжали на день-другой попариться, отдохнуть. А как из бани да без «послебанного»? Распаренный, раскрасневшийся отец уважал после бани шпунт, купецкий чай с водкой. На такой случай матушка покупала бутылочку загодя. Отец в белой рубашке садился за стол, торжественно ставил перед собой граненый стакан и открывал бутылочку.

— Суворов еще солдатушкам своим говаривал: водку, дескать, на службе не пейте, а после бани хоть штаны продай, да выпей. А Александру Васильевичу прекословить не годится.

Наливал отец водки до ободка стакана, сверху чуть подкрашивал заваркой.

— Это уж водка с чаем у тебя получается, а не чай с водкой... — ворчала мать, но как-то нерешительно у нее получалось.

Добрые-то зырянские бабы мужей только в моменты их тяжкого похмелья от души ругают-стругают. Трезвого ругать не за что, а пьяного — бессмысленно. Да особо и не посмеешь на хозяина голос повысить...

— От перемены мест слагаемых сумма не меняется, — выдыхал отец, ставя на стол пустой стакан, и как только дыхание выравнивалось, пересаживался к устью печки, закуривал «Север» и рассказывал какую-нибудь веселую историю. А случаев житейских и анекдотов местных он знал много. Изредка вставлял что-то и из свежепрочитанного, комментируя на ходу.

Уезжая на Виза-Ёль, мужики брали с собой огромные мешки с роман-газетами и списанными библиотечными книгами. Коротая вечера, видно, читали все, даже те, кто к чтению был вовсе не приучен. Отец частенько нам говаривал:

— Не зачитывайтесь, а то попами станете. Я вон, когда в школе учился, единственный раз брал из библиотеки книгу, «Индийские сказки», и то умудрился потерять...

Но виза-ёльская «изба-читальня» мимо отца явно не прошла. Роман-газеты прочел все, Бондарева и Кожевникова, Белова и Айтматова, Семенова и Рытхэу...

По возвращении из леса собирались всей бригадой у кого-нибудь на посиделки. Сиживали и у нас вечерами да долгими ночами. Футболом-хоккеем сельские мужики не болели. Хвастовство добрыми женами оставляли самым уж никчемным. А вот про работу и про политику частенько спорили. Революции, коллективизация, войны, история, вожди да полководцы... Чуть до драк не доходило. Зимой главным предметом спора становились романы. Пусть выражались сумбурно. Пусть говорили немного путано, подыскивая точные слова, но таких толковых суждений о литературе я позже не слышал даже от специалистов. Хоть терминами и не бросались деревенские мужики. Хоть и представления не имели о завязках,

развязках да кульминациях. Хоть и не ссылались на Белинских-Писаревых, да и Лотманов-Кожинных не поминали, и уж тем более не знали нынешних окололитературных болтунов... Слушать было весело и интересно, когда эти «бригадные симпозиумы» перерастали в «литературные вечера».

— Погоди! Погоди! Вот смотри! А зачем автору нужно было Вапыската туда отправлять?! Я бы его линию так не обрывал, по-другому бы написал...

— Так садись и пиши, кто тебе мешает? Только ведь таланта у тебя нет...

— У меня нет?! Иди ты! — взвизывает товарищ, но как-то быстро успокаивается. — Ну да, писать не умею. Но я бы все равно вот так вот эту историю повернул... Чтобы интереснее...

— Так в жизни не бывает. Если Вапыскат — настоящий чукча, он природу должен знать досконально. Так? Так. Ты, допустим, когда в лесходишь, ты же не приноживаешься к муравейникам, не смотришь, с какой стороны на дереве мох с лишайником растут? Ты же не выясняешь, с какой стороны север, с какой юг? Зачем тебе это? Идешь и идешь сам по себе, куда тебе нужно...

— Ты мути не говори! Это ж РОМАН! Это тебе не в кирзачах на босу ногу по деревенской грязи шлепать. Это тебе не пьяным рубаху на груди рвать. Здесь надо, чтобы герой умирал красиво (он же герой!), а не где-нибудь подыхал под забором. Вот напиши про нашу с тобой жизнь, кому она нужна? Кто читать будет, кроме нас с тобой?

— Э-э-э! Не скажи! Как раз про нашу с тобой жизнь и надо писать! Чем моя жизнь — не роман? Да я, если начну рассказывать про все: про армию, про жизнь прежнюю, про девок... Только записывать вот некому...

— Сам напиши.

— Сам не сумею. У меня грамоты мало: пять классов и коридор. И потом, когда начнешь что-то писать, письмо, например, или заявление, теряешься. И это вроде нужно написать, и про это напомнить, и третье в башку лезет, а потом и вовсе уходишь в сторону. Пропади оно...

От слова этого «пропади!» взвизывает закунявший уж было товарищ:

— А шатун когда человека грызет, он не пропадает?! Если ты, допустим, всю жизнь промышляешь, не то что медведя-людоеда, а как белка шелуху от шишки роняет, и то услышишь. Как это он? С карабином! И труханул аж до паралича? Карабин — это ж не пистонка... Наши вон ходили как-то...

— Да, городской, видать, писатель-то. Ни шиша сам не знает. Он и думает, и пишет как городской...

— А этот шаман и вовсе как уродец получился. Как-то же он дорос до шамана? Простого человека же не выберут на такую должность? Кто-то ведь его и поддержал? Почему это при коммунистах он таким никудышным вдруг стал? Политика это, а никакой не роман, и никакая не жизнь!

— Ну-у! В книге и в кино всегда двое главных. Один — ужас какой замечательный, а другой и вовсе ни в дугу. Если все одинаковые, уснешь с тоски...

— Ну да. Как-то одна баба выходит из клуба, у нее спрашивают: «Про что, мол, кино?» «А сначала, мол, про колхоз, а потом убивают...»

— Ну почему же? Не везде так. У нас ведь это про белых с красными да про председателей с кулаками, а где-то и про другое пишут: про любовь там и прочее...

Спорили мужики иной раз неистово, хлопая ладонью по столу, смахивая посуду со стола, с матерком и подколками, но и к согласию приходили. И сейчас для меня удивительно, как это до драки у мужиков не доходило. Все с ножами на поясах, орут дурным голосом друг на друга, кулаком бьют по столу так, что чугунные сковородки подскакивают, вскакивают из-за стола, скрипя кулаками и зубами. Но был у них какой-то внутренний тормоз. Было у них уважение друг к другу и даже почтение. Пламя споров гасило шуткой, обращением по отчеству и добрыми словами:

— Ну-ка, Никитич...

— Погоди, Николаич...

— Егорушка, давай-ка, парень, голос убавь слегка...

— Алексеюшка, ты уж потише немного, а то детей напугаешь...

Споры заканчивались мирно. Тягались на согнутых средних пальцах, мерились на руках, рубились ножами. До рубки ножей доходили, когда кто-то хвастался новым ножом или какого-нибудь кузнеца нахваливал. Спорили азартно, потом клали один нож обушком на стол, а другой бил лезвием об лезвие. Однажды отцовский нож сильно зазубрил пять ножей, а шестой и вовсе перерубил до обушка. Тогда я понял, почему отец настрого запрещал домашним трогать его ножи. Тогда я понял, что развешанные на стене отцовские ножи не просто «охотничьи», «забойные», «ремесленные», «столярные», но и «личные ножи», «отцовские ножи», «именные ножи».

Где-то в такое время и привезли в сельповский магазин те небьющиеся стаканы.

Не бьются, дескать, хоть об стенку бей... Мужики сарафанному радио не доверяют:

— Старые люди-то говаривали: бабу, мол, послушай да сделай наоборот, чтобы путем все вышло.

На каждой посиделке, на каждой гульбе стали бить об пол, об стены, об матицу, об угол печки небьющиеся стаканы.

— Как так, стекло да не разобьется?!

— Вот ведь, сатана!

— Дай я попробую!

— Бабу свою пробуй, дай я еще разок шваркну!

Долгими зимними вечерами, далеко за полночь «стаканились» разгоряченные мужики, будто тяжкую работу работали. Кое-кто, может, и на работе-то так не потел... Через неделю-другую все же отошел основной народ от

этой пустой затее, но оказались среди них и люди с характером, чужому мнению неподдающиеся, можно сказать, даже упертые. Кому-то и удалось разбить небьющийся стакан. Рассыпался, развеялся первый стакан в мелкую крошку, в стеклянную пыль.

— Во! Не дураки были старые-то люди! Опять по-нашему вышло, а не по-бабьему!

Тогда и с новой силой уже принялись мужики стаканы бить. Чтобы не только бабам, но и друзьям-неверам доказать, что ежели с душой подойти к делу, то разбить можно любую вещь. За пару месяцев нашли в стаканах слабинки. Брошенный умелой рукой стал биться каждый второй стакан. Бабы не успевали на газетки белую пыль от них сметать. Эх, сколько «добрых слов» услышали от них «эти сивые-бородатые придурки».

Через год на селе такие стаканы сохранились только у одиноких строгих женщин, которые пьяниц к себе не приваживали.

А мужикам не сиделось спокойно. Мужику ведь до сути нужно дойти, начало всему найти, ежели по Аристотелю — первопричину. Кто-то где-то то ли вычитал, то ли так узнал, что небьющийся стакан приказал сделать сам Иосиф Сталин, чтобы можно было постоянно носить в кармане галифе и в любой момент быть готовым к приему фронтовых ста грамм. Стекло, мол, так и называется — «сталинит». Только вот создателей чудо-стакана все же, мол, расстреляли. Тоже по приказу Сталина. В кармане галифе однажды у него стакан разбился. Конечно, от такого расвирепешь: карман штанов — это тебе не карман пиджака, еще порежется не то, не дай Господь...

В справочники полезли мужики. Оттуда уже узнали, что небьющееся стекло в основном выдерживает много падений, бросков, ударов. Но! Единственное слабое место, оказалось, есть в небьющемся стекле. То ли точка напряженности, то ли точка натяжения... Вот эта, мол, точка и держит, стягивает края стаканов и бронированных стекол. Оказывается, о бронированных стеклах собственной машины заботился Сталин, по барабану ему и стаканы, и фронтовые сто грамм. А точка натяжения, которая дает силу и прочность, и есть самое слабое место в стекле. Ее саму, оказывается, нужно беречь и прикрывать пуше всего. Если туда слегка ударишь, сработает, как сторожок слопца, и перемелет все стекло в муку.

Быстро поразбивались небьющиеся стаканы.

После этого лет через двадцать только в руки мне попало забытое уже чудо.

По отцу исполнилось сорок дней. Душу проводили. Посуду, конечно, собирали по соседям и родственникам. Уже глубокой ночью, сидя на кухне в одиночестве, открыл бутылку водки. Взял с подноса под образами один из перевернутых стаканов. Поставил перед собой. Потянулся за вторым, чтобы и отцу налить. Подолом расстег-

нутой рубахи задел свой. Упал стакан на пол. Рассыпался в белую пыль по всей кухне. На точку стяжения упал.

При отце семья крепкая была у нас. Отец — сам и гнет, и опора. Как столешница из лиственницы. Жена с дочкой — переведины. Четырех сыновей поставил вместо устойчиви-

вых ножек стола. Четырьмя невестками-перекладинами снизу укрепил. Вроде и крепко на ноги стали. На века. На жизнь. Только опору, оказывается, надо было беречь больше. Не думали, что у семьи нашей крепкой точка стяжения в сердце отцовском скрывалась. Только откуда нам было знать, где слабое место, пока стакан на него не упал.